

это вопрос формальный; главная причина была в том, что в центральной печати одна за другой стали выходить подборки его прекрасных стихов, которые сразу же оказались в центре внимания общественности. И как только он стал известен в литературном мире, он в скором времени, ухватившись за подол поэзии, так резко скинул с себя бремя политехнического института, что и сам потом не мог найти его, да и не искал его вовсе, кажется...

Когда я работал в газете «Литература и искусство» по улице Зевина 4, он довольно часто заходил ко мне. И причем настолько часто, что создавалось впечатление, будто он не ко мне приходит, а на работу.

Однажды я ему сказал:

– Рауф, ты все равно сюда приходишь, так почему бы тебе для нас тоже не писать, немного заработаешь...

– А это возможно?

– Отчего же нет?

– Ну что ж... Давай зарабатывать... – вновь на лице его промелькнула загробная улыбка неизвестного солдата.

– Что ж... Прямо сейчас иди в театр Русской драмы, который от нас в пяти шагах, там как раз всюду идут репетиции пьесы «Шаги Командора». Иди, напиши, напечатаем, затем гонорар получишь....

По тому, как он встал и пошел, я понял, что в голову его эта мысль втемяшилась. На следующий день он принес свою статью, ее напечатали, выдали ему гонорар – пятнадцать манатов. На них в то время можно было купить семь с половиной килограммов замороженного мяса. Я подумал, что он вдохновится, но все вышло иначе. Это была его первая и последняя статья, и я не принуждал.

Рауф Солтан не был аккуратистом, но что касается его образования, видения мира, порядочности, чистоты помыслов, то по поводу наличия у него этих качеств ни у кого сомнений не возникало. И притом он был очень теплым человеком. Если он внешне и выглядел несколько обветшал, но внутри был собран и чист, как говорится, с его колоска роса ниспадала, но не все это замечали. Но поскольку мы были близки, я не то что видел эти капли, но даже слышал их.

Иной раз мои приятели говорили мне: – Да что ты нашел в этом Рауфе?

Я отвечал: – Я ничего в Рауфе не нашел, я самого Рауфа нашел.

После этих слов, если кто-то еще возникал, я ему говорил:

– Иди себе, прыгай!

И он шел, но, правда, я не знал – идет ли он прыгать или еще куда.

У Рауфа было никому не нужное дворянское достоинство: его глаза, его душа были сыты. Он не был человеком этого мира. Скорее был человеком меджлиса. В миру он тосковал. А в меджлисе – нет. Не мог найти свое место в жизни, но в меджлисе оно у него было.

В городе он гулял по одним и тем же местам. Свое малое путешествие он начинал с памятника Низами, затем направлялся к кинотеатру «Азербайджан» и оттуда проходил к Приморскому бульвару. Нет, он там не задерживался – пять-десять минут любовался издали морем и затем этим же маршрутом возвращался. И хотя расстояние было не такое уж большое, но стоило ему дойти до памятника Натаван, как он уже был не один, у него было много знакомых, словом, кто-то к нему «прилеплялся». В любое время года он всегда ходил с непокрытой головой. А зимой носил серое, толстое, некогда дорогое пальто, которое я помнил с начала нашего знакомства. В

этом не очень поношенном пальто и сам он выглядел вполне пристойно, можно даже сказать, импозантно. Возможно, они с пальто дополняли друг друга. Если бы его поношенное пальто выглядело новеньким, то «поношенность» самого Рауфа была б в глаза. А так они выглядели одинаково. Трудно заметить разницу схожести. У него была пара костюмов. И они, как и родные его степи Мугани, были серы и, вероятно, являлись ровесниками его пальто. Они, его костюмы, тоже, все более серея, гуляли по маршруту Рауфа Солтана. Эта дорога, в сущности, была его замкнутым кругом, а у круга, как известно, нет конца; если даже миллионы лет будешь идти по кругу, дорога не завершится. И потому дорогу величиной с голубиное яичко можно считать дорогой бесконечности.

Рауф Солтан в плане того, чтобы кого-то обидеть, был самым бездарным из людей. Это про таких говорят – «и комара не обидит». И поскольку таких людей на земле мало, то их правомерно считать «национальным достоянием». Он был терпелив. Но, правда, терпел-терпел, копил-копил обиду и потом, вдруг, в один прекрасный день, а может, и не прекрасный, все это швырял человеку в лицо. Да, и такая черта характера была ему свойственна. Это происходило, когда чаша его терпения переполнялась. Но у него и другого выхода не было: он должен был опорожнить свое сердце, чтобы освободилось место для новых обид.

Ведь такие вещи невозможно собирать в карманы... Они предназначены для иного... чтобы сердце грызть...

Раза два я набивался к нему в гости, но приглашения от него не последовало, и я не придавал этому значения. Я понимал, что это он делает не от душевной скупости, а, видимо, чего-то стесняется.

Печаль в его глазах хоть и была ясно прочитываемой, но dna ее не было видно... Это напоминало ущелье, где в глубине бурлили темные воды Стикса... реки Преисподней. Он так сроднился со своей печалью в глазах, что уже не мог без нее жить. Это его состояние можно сравнить с тем, как люди со слабым зрением без очков не могут тронуться с места... И Рауф Солтан, если бы породненную с ним печаль мог снять с глаз, как очки, то не смог бы ступить без нее и шагу. Понять это тяжело, несмотря на то, что эта печаль смотрелась в его глазах, как пара темных спелых вишен.

Однажды между нами состоялся серьезный «лечебный» разговор. Мне очень хотелось, чтоб он изменил свою жизнь, причем сделал это сам, так как, кроме него самого, ни у кого не хватит сил это сделать. Он мне дал множество обещаний, и среди сонма клятв я увидел крупницу надежды величиной с игольное ушко. Теперь оставалось эту крупницу взрастить, чтоб она выросла хотя бы с вишенку. И, действительно, надежда, которую он мне предоставил, с божьей помощью стала расти.

Пока ее невозможно было увидеть невооруженным глазом, но почувствовать уже можно было. Но чтоб увидеть это воочию, необходимо было вооружиться микроскопом с сильными линзами. Несмотря на это, я ему поверил. И моя вера была намного выше, чем его. А если бы это желание оставалось лишь желанием Рауф Солтана, то вряд ли дело сдвинулось с места...

На девяносто девять процентов надеясь на Бога, и на один процент – на Рауфа Солтана, я сел в самолет и вылетел в Москву. С собой я взял подборку стихов Рауфа – подстрочники. И хотя год этого исторического для нас события я не запомнил, но помню, что тогда ректором Литинститута имени Горького в Москве был Евгений Сидоров. Позднее он стал министром культуры России.

У меня с ним в ту пору отношения были хорошие, и порой между нами даже

возникали довольно откровенные беседы. Сидоров в холодной Москве встретил меня тепло, и это не было неожиданностью. Наши московские коллеги по перу всегда весьма радостно нас встречали. Причиной этой теплоты были две вещи: первое – чистая бескорыстная дружба; второе – известный ресторан Центрального дома литераторов. И хоть отношения с Сидоровым относились к первой категории, но и без второго мы не могли обойтись, нам так хотелось.

Прочтя стихи Рауфа, Сидоров сказал, посмотрев мне в лицо и улыбнувшись:

– Он же великий поэт! И, наверное, великий дурак?

– Так точно, товарищ генерал, – ответил я ему.

Прежде чем Сидоров приступил к чтению стихов Рауфа, я подробно ему рассказал о своем друге, что был не от мира сего. Поэтому пусть вас не удивляет некоторое противоречие в словах Сидорова.

Еще будучи в Баку, мы с Рауфом пришли к заключению, что он должен учиться на заочном отделении Литинститута.

Поясню для тех, у кого нет информации об этом институте: туда поступают те, кто проходит творческий конкурс, затем, если я не ошибаюсь, они пишут диктант, и все. То есть, если ты удачливая рыбка, в этом море сможешь вырасти.

Если Москва была столицей СССР, то для десятитысячной армии литераторов различных наций и вероисповеданий «столицей» был ресторан Центрального Дома Литераторов (ЦДЛ). Там можно было встретить корифеев советской литературы различного масштаба – поэтов, писателей, переводчиков. И в этот ресторан пропускали только членов Союза писателей и их гостей. И даже знаменитые актеры, певцы и другие деятели культуры просто так сюда не могли войти, разве что в сопровождении какого либо члена Союза писателей. Здесь никакое знакомство, так называемый «тапш», не проходил. Будь ты даже генералом. Словом, туда можно было пройти только по членским билетам, и это обстоятельство нам очень нравилось, мы тогда чувствовали себя чуть ли не выше генералов.

Перед моей поездкой в Москву, я провел серьезный разговор с Рауфом и по поводу его главной – семейной проблемы. После долгих препирательств, уговоров мы все же пришли к конкретному решению. Кандидаткой в спутницы его жизни мы избрали дальнюю родственницу одной нашей писательницы, работающую в проектном институте. Она подходила ему по всем параметрам, была образованной и современной. Я даже поинтересовался, все ли у нее в порядке по женской части, сможет ли она родить ребенка Рауфу. Ответ был положительным. К тому же, они были почти ровесниками, она была старше Рауфа всего на полтора месяца. Жила одна в двухкомнатной квартире у «Пятиэтажки». Однажды мы вчетвером сели в машину и поехали в ресторан, расположенный в пригороде Баку – в Сараи. Поговорили искренне, по душам. Они понравились друг другу. Мы договорились, что дождемся, когда Рауф сдаст приемные экзамены, и затем устроим «камерную» свадьбу на 80-100 человек, словом, подведем итог. Наша приятельница, родственница невесты, тогда же дала слово, что как только Рауф поступит в институт, она его сразу же устроит в издательство «Гянджлик» редактором.

Оставшись вдвоем с Рауфом, мы согласно нашей секретной договоренности решили пригласить на нашу камерную свадьбу друзей Рауфа, а также моих родных. А деньги, оставшиеся после уплаты ресторану, отдадим жениху, новому бею, чтоб он смело мог начать свою семейную жизнь. А затем они, голова к голове, взявшись за руки, пойдут шагать по жизни. Идея была великолепной. Я это говорю не потому,

что являлся автором этого проекта, а потому, что в создавшейся ситуации этот вариант был для Рауфа хорошим выходом: высшее образование, спутница жизни, квартира, работа – словом, живи, твори. Что остается? Да, и еще предстояло вывести Рауфа из его заколдованного круга, отдалить его от его извечного маршрута: от памятника Низами – до бульвара, где его на каждом шагу подстерегали стограммовые напасти... И эта стограммовая мина замедленного действия могла в любой момент разорваться у него под ногами и все погубить.

Мы с Рауфом не раз ели-пили. Но на протяжении многих лет я его ни разу не видел в невменяемом состоянии – всегда он владел собой отменно: ум его был на месте, терпение – при нем, искренность – перед глазами. В дни, когда он был трезв, и в дни, когда пил, он мало чем отличался, уровень его разговорчивости была одним и тем же. Он не был равнодушен к женщинам. Даже если бы Рауф находился в сорокаметровой яме, то и тогда виденье красоты не ускользнуло бы от его взора, он бы это заметил. Встречал красоту целомудренным взглядом и достойно ее провожал с улыбкой на лице, вел себя так, будто благодарил Создателя, шепча при этом так тихо, чтоб только самому услышать:

– Благодарю тебя, Господи!...

Я чувствовал, что после неожиданной встречи с красотой его самочувствие менялось, и, если так можно выразиться о мужчине, и сам он как бы сливался с красотой, пьянел. Я не раз становился свидетелем его опьянения красотой. В такие моменты он долго молчал. Вот такое было отношение Рауфа к красоте – благоговейное.

А у моего друга детства – Зейнала, который, кстати, также любил Рауфа, как и я, отношение к красоте было несколько иное. Когда он встречал красивую женщину в городе, то восклицал:

– Офф!... ёё... Какая красotka!

Естественно, Зейнал такое произносил для наших ушей. Мне казалось, что если бы он так эмоционально не выражал свое отношение к красоте, то взорвался бы.

И когда Рауф слышал такое восклицание Зейнала при виде красоты, то каждый раз, на правах старшего по возрасту, произносил одну и ту же фразу:

– Ну и невежда...

– Поэт, почему я невежда? – интересовался Зейнал.

– Нельзя так красоту оценивать... – замечал Рауф, иронично улыбаясь.

Зейнал не отставал:

– Э-э-э, почему?

– Потому что из всех красот земли самая красивая и живая – женщина!

– Ну и что? – Зейнал не желал сдаваться.

– Ну, ты и невежда... – не скрывая иронии, продолжал Рауф. – К красоте надо красиво подходить... когда к красоте подходишь пошло, то красоту можно вспугнуть...

– Ну и пусть пугается... подумаешь... Ну, и что будет?... – спрашивает Зейнал.

– Когда красота пугается, она может пораниться...

– Ты прав, брат, – соглашается Зейнал, целуя его в щеку (от этой двусмысленной привычки – целоваться, мы никак не могли его отучить). И сейчас он вновь вел себя согласно своему естеству. И букву «Ф» в восклицании «офф» тянул и увеличивал в разы. И Рауф вел себя подобно себе, не меняя своих привычек, излюбленных словечек:

– Ну и невежда...

Мне же оставалось с уважением отнестись к их мнению, и меня это устраивало. Мы часто проводили время вместе, без усталости мерили шагами улицы города. Когда бывали при деньгах, сидели в ресторане, а когда в карманах бегали «мышьяки», шли ко мне или к Зейналу. К Рауфу не было «хода». Что с него возьмешь – ни могилы, ни савана. Наша троица дополняла друг друга. И если кого-то из нас не было, то наш меджлис походил на мельницу без жерновов, или, еще точнее, – на человека с широкой грудью, сильной мускулатурой, но хромого, у которого одна нога короче другой. Словом, друг без друга мы не могли крепко стоять на ногах, сваливались на бок. А мы, как и все, не хотели падать. Да еще на бок. Есть даже такое ругательство:
– Да чтоб ты на бок свалился!...

Итак, мы сделали экскурс в глубины отношений Рауфа, Зейнала и Сейрана, и если это вас утомило, то давайте всплывем на поверхность.

Вновь мы в гостеприимном доме Зейнала, вновь втроем... Стол богаче наших карманов.

...Зейнал, сам себя избрав тамадой, никому не давал вставить слова, один за другим произносил цветистые тосты. К счастью, в тот день ни у Рауфа, ни у меня не было желания держать речь. Это было на руку Зейналу, ему предоставлялась единоличная площадка, где он, вдохновенно оседлав коня красноречия, гордо гарцевал на нем. Я никогда в жизни не слышал таких тостов, какие произносил Зейнал. Он подходит к тостам творчески, считая их одной из ветвей народного творчества. И потому он старался еще более эту ветвь развить. И, что самое интересное, он действительно в иных своих тостах достигал желаемого.

К примеру, тосты его о дружбе завершались примерно так:

– Я не считаю ни атомную бомбу, ни водородную, таким уж большим открытием. Самое большое открытие – это дружба.

И если бы мы эти слова, в качестве подарка от Зейнала, включили в фольклор, он был бы счастлив.

Меджлис был в самом разгаре, мы сидели во дворе, под тенистым деревом. В такие моменты Зейнал любил закидывать удочку Рауфу – если это срабатывало, он веселился, а не срабатывало, он примирялся с реальностью и ждал другого удобного случая. А в этот раз, когда он находился в своем доме и приколотся к Рауфу, тот сразу же, по неосторожности, попался. Зейнал сражался с этим дитем Мугани до пределов его терпения, в годах отшлифованном гарабахском стиле разговора, затем он «удочку» с горла Рауфа вынул и закинул ее в колодец, мол, если Рауф не узнает, рыба узнает. Рауф тоже вместе с нами хохотал его шуткам до слез в глазах. Но Зейнал не успокоился на этом:

– Рауф, у тебе есть стих:

*Я тайком поцеловал цветок в щеку,
поскольку знал,
если проведает о том соловьи –
начнется галмагал...*

Если в разговоре касались его стихов, это было для Рауфа болезненной темой, он тогда вносил в наш меджлис не свойственную ему раздраженную струю.

Чуть не задохнувшись, Рауф возмущенно спросил:

– Ну и что, что ты хочешь сказать?

– Я не понял сути этих строк...

– Чего не понял?

– Смысла... – Зейнал не отступал.

– *Тайком поцеловал цветок в щеку*

поскольку знал,

если проведуют о том соловьи,

начнется галмагал – ... смысл в этом! – воскликнул Рауф.

– Опять не понял, – сказал Зейнал.

– Ну, ты и невежда... чего не понял?

– Все прекрасно... и цветок, и соловьи... Но меня, как читателя, интересует вот что: ну, хорошо, ты целуешь цветок в щеку, хорошо делаешь... но скажи, пожалуйста, почему ты это делаешь тайком? У тебя что, не хватает мужества – поцеловать цветок на виду у всех, или ты соловьев испугался?

Рауф, покачив головой, посмотрел на меня и, указав на Зейнала, сказал свое обычное:

– Невежда, да?...

Я вынужден был вмешаться:

– Зейнал!...

Рауф перебил меня:

– Не Зейнал, а невежда.

– Но, возможно, он не согласен, чтоб его так называли?

– Ну, вы договоритесь, да...

– Зейнал-муаллим, вы не против, чтоб я называл вас «надан», то есть невежда?

– Продолжай...

– Ай невежда, вопрос стоит вот как: в классической поэзии Востока цветок воспринимается как любовница, то есть, возлюбленная соловья, то есть, у цветка есть хозяин, говоря твоим языком, есть муж, цветок – не вдова. Теперь ты включи свои мозговые извилины: Рауф потому тайком целует цветок в щеку, чтоб никто не видел, чтобы драка не произошла, не пролилась кровь, ведь это дело чести.... За такие вещи могут человеку...

– Башку свернуть?... – перебил меня Зейнал.

– Нет, еще хуже.... – ответил я

– Да-а-а... – Зейнал, захлопав глазами, поплыл в «глубокое раздумье». – Теперь понял, Рауф прав, за такие вещи с человеком могут сделать ...ну, то, о чем ты подумал в душе.

– Невежда, – произнес Рауф мстительно.

– Благодарю вас, поэт... – не оставил Зейнал его реплику без ответа.

А когда Зейнал, разлив водку по стопкам, в очередной раз собирался сказать тост, я его перебил:

– Зейнал, ради всего святого, ради могилы твоей бабушки, дай и мне сказать.

– Тост? – Зейнал посмотрел мне в лицо и поставил свою стопку на стол.

– Нет, я просто хочу сказать. Посмотри, как прекрасно выразился Рауф...

*О, девушки в цвету,
Песнь земли,
Вы – юношей жизнь.
Двое вместе – бейт Физули,
Четверо вместе – баяты.*

– Прекрасно! – Зейнал впал в экстаз. – Есть у нас передача – «Из наследия классиков» – эти стихи просятся быть там озвученными. Но и здесь есть некоторые пустоты...

Рауф только хотел вступить в спор, я его опередил:

– Что еще за пустоты? – возвысил я голос.

– Вы только писать можете, вы не чувствуете, как я. Послушайте и поймете, – ответил Зейнал внушительно.

– Ну, скажи, мы слушаем.

– Вот, смотрите, – посмотрев на меня, Зейнал указал на Рауфа. – Поэт пишет: «девушки в цвету, вы – юношей жизнь». Сколько здесь девушек, сколько юношей? Он должен был указать точное число. Может, число юношей не равнозначно числу девушек? Это первая неувязка...

– Невежда, – перебил его Рауф.

– Рауф, не кипятись – постарался я его успокоить. – Пусть продолжит.

– Да... – продолжил Зейнал, не обратив внимания на реплику Рауфа. – Так вот, затем он говорит: «*Двое вместе – бейт Физули*» – это хорошо...а вот что означает трое вместе? Этого он не объяснил. Это тоже неувязка. И в конце говорит: «*четверо вместе – баяты*». Это тоже хорошо. И тогда правомерен вопрос – А пятеро вместе? Хорошо, если это не пустоты в стихе, тогда что? Поэт над этим стихом еще должен поработать. Теперь поняли? – и он поочередно посмотрел на нас обоих.

– Невежда.... – повторил Рауф извечное свое выражение.

– Ну, хорошо, Зейнал, в творчестве Рауфа нет ни одного цельного совершенного стихотворения? – спросил я.

– Нет, – ответил он, – совершенного стихотворения нет, но две совершенные строки я нашел.

– И что это за строки? – спросил я.

– Когда армяне взяли Шушу, он написал стихотворение, где в конце были такие строки:

*Хоть бы Шушу тогда взял Мохаммед Гаджар,
Боже, но смотри, кто завладел Шушой?*

Эти две строки совершенны...

– Вот невежда!.... – вновь воскликнул Рауф.

– Зейнал, – сказал я, обозрев глазами стол, накрытый им для нас, – скажи, я щедрый человек?

– Да, ты щедрый, щедрый-то щедрый, но рука твоя пуста... в ней ничего нет...

– А Рауф?

Зейнал обнял Рауфа за плечи, притянул к себе, поцеловал в щеку и сказал:

– В отношении денег Рауф похож на солдата, потерявшего на войне обе руки. Про того, у кого нет рук, о том, открыта ли его рука, ничего не могу сказать, я честный человек! – и, посмотрев мне в лицо, добавил: – Может, ты прекратишь задавать глупые вопросы? Можешь?

– Могу, – ответил я.

– Знаю, можешь, – и, подняв стопку, сказал очень длинный тост, начав с ихтиозавров, динозавров, и завершив Рауфом Солтаном: – Рауф Солтан – настоящий поэт! Рауф – наша надежда и мой брат.

– А мне он кто? – не сдержался я.

– А тебе... сестра!

Хохот наш прокатился волнами по всему дому.

Рауф сказал:

– Невежда, да...

На этот раз я, как защитник, единомышленник Зейнала, вмешался в разговор:

– Рауф, ты чего, зачем так говоришь?

– Не видишь, как он поступает, по шее мне дает, а в подол орехи сыплет? – глядя мне в лицо, смеясь, замечает Рауф.

– А разве в Саатлы растут орехи? – спросил Зейнал.

– Нет, – коротко ответил Рауф.

– Орехи – ценный продукт, если попадут тебе в руки, ешь, сынок...

– В Саатлы орехи не растут, в Саатлы растёт Рауф Солтан! – это сказал я, и поэт был удовлетворен.

Мы трое не обижались друг на друга. И наши меджлисы всегда проходили в подобном ключе. Наши слова, как сто грамм водки, через наши гортани проходили легко, без обид. Для обид не оставалось места...

Однажды даже Зейнал полушутя, полусерьезно сказал:

– Наше триединство похоже на триединство Джаббара Гарьягды. Правда, мы не можем играть на музыкальных инструментах, не можем петь и танцевать. Но то, что мы умеем делать, они не могли.

Помнится, тогда, ступая по его следам, я спросил у Зейнала:

– Вероятно, под Джаббаром Гарьягды ты подразумеваешь себя? ...

– А ты что, сомневаешься в этом? – недовольно посмотрел он мне в лицо. – Да, внук Туглу Мешади Хамза бека – Зейнал, – протянув руку вперед, ударил он себя по груди, – Джаббар Гарьягды, ты, Сейран, – тарист. – Затем, повернувшись к Рауфу, посмотрел на него изучающе, улыбнулся: – А ты – кьяманчист, Саша Оганезашвили, музыкант из Саатлы...

Рауф, серьезно не восприняв его назначение на должность кьяманчиста, опять назвал его:

– Невежда....

Такие вот дела... Слово «невежда» было излюбленным выражением Рауфа. И, надо заметить, и невежд вокруг много. ... И потом, здесь не идет речь о таких людях, как Зейнал. Он был добровольным невеждой. Думаю, он нарочно себя так вел, чтоб от Рауфа можно было услышать это слово. Сам Зейнал об этом знал точнее. Возможно, на это следовало посмотреть как на стремление придать жизни ироничную окраску...

Баку располагается, к сожалению, не в зоне лесов, и потому летний зной, смешиваясь с сигналами и дымом машин, превращает его в другой лес – в лес гудящих звуков. В полдень это гудение слышится особенно ярко, город приговорен слушать эту гудящую «песню» зноя.

Летом я отправляю своих детей в село, к отцу. Они отдыхают также и у своего дяди Вагифа, который держит кебабную возле мельницы. Когда мои дети в районе, в родном Физули, в цветущем Гарабахе, где я родился, я в Баку спокоен за них. Они едят-пьют в дымной кебабной и, как маленькие утята, купаются в реке...

Однажды Рауф Солтан пришел ко мне в конце рабочего дня. Он мне показался пасмурным.

Спросил:

– Что будем делать?

– Пойдем к нам.

– Нет...

– Почему? ... – спросил я.

– Неудобно, – каждый день, каждый день...

– Во-первых, – сказал я, – ты стесняешься зря, мой дом – это и твой дом...

– Нет, нет... – прервал он меня, – не могу, нельзя так часто надоедать твоим домашним.

– Я сказал «во-первых», теперь надо, что б ты узнал, что я думаю «во-вторых».

– Хорошо, говори, – согласился Рауф, обреченно посмотрев на меня.

Я вновь начал с самого начала:

– Во-первых ... я об этом уже сказал, а во-вторых, я в доме один.

– Тогда пойдем, – оживился Рауф. – А дети где?

– Они в районе, поехали в Сабирабад на отдых...

Он громко расхохотался:

– Нет, они, вероятно, находятся в Физули.

– Ну, конечно, в Физули, им там привольно.

Когда мы вышли из редакции и сели в машину, Рауф сказал:

– Возьмем что-нибудь?

– Что? – спросил я, будто не ведал, что он имел в виду.

– Ну, вино или водку...

– А-а-а... вино или водку... – наконец-то понял я...

– Я могу взять, – посмотрел он мне в лицо.

– Спасибо, – ответил я, – дома все есть.

– Давай по дороге заедем и за Зейналом, – предложил Рауф.

– Нельзя, – ответил я.

– Почему?

– Он мне осточертел.... В последнее время очень много о себе воображает...

– А что он говорит? – удивился Рауф.

Прихлопнув рукой по рулю машины, я ответил:

– Что бы ни говорил, говорит больше размера своей головы, слишком высокого о себе мнения, хватит да, сколько можно? ...

Рауф наполовину поверил, наполовину нет. Я это ясно прочел на его озадаченном лице.

Он молчал до самого дома Зейнала, но когда мы доехали до него, сказал:

- Может, его амнистируем? – Рауф с надеждой посмотрел на меня.
- Это невозможно!
- Почему? Без него у меджлиса что за вкус?
- Потому что отец его в Дашкесане, на проверке.
- А какое это имеет отношение к Зейналу?
- Имеет. Он позвонил Зейналу и попросил его приехать ... – посмотрев на свои несуществующие часы, я сказал: – Теперь они с отцом сидят у родника и произносят друг для друга тосты, понял?
- Понял... Но разве все это нельзя было сразу, по-человечески, сказать?
- Можно было б...
- А почему меня расстроил?
- Ну, иногда веду речь не по накатанной колее... хочется отдохнуть от человеческого восприятия... – остановив машину, я сказал: – Рауф, иди возьми один тендир-чурек.
- Может, и лимонад взять?
- Нет, дома есть...
- Пива?
- Есть, все есть, возьми только хлеб...

Рауф, положив длинный тендир-чурек между листами газеты «Азербайджан», оставил его на заднем сидении, а сам сел рядом со мной.

Когда вышли из машины, я сказал:

- Ну возьми же хлеб... Хоть раз в жизни приди к нам с полными руками....

Рауф привык к такому обращению. И когда я и Зейнал его не поддевали, не подшучивали над ним, он начинал беспокоиться, думал, что мы к нему охладели. Мы же уже знали наизусть его ответ, ту улыбку, с которой он нам отвечал на это...

Включив кондиционер, я спросил:

- Где нам сесть, дома или во дворе?...
- Лучше на балконе...
- Не будет жарко?
- Нет-нет, здесь прохладно, солнце уже село...
- Ну, на балконе, так на балконе, ты у нас жары не боишься. Ведь ты, брат, вырос в жарких странах – Саатлы, Сабирабад, а рядом – Имишли, Кюрдамир, Хаджигабул... То ли дело наши края...

Наш балкон довольно большой, длина его – двенадцать метров. Я накрыл на балконе стол скатертью, затем вынес из дома все, чем был богат наш холодильник.

И пока я накрывал на стол, прошло полчаса. Окинув стол взглядом, я остался доволен и, положив пару голубых фужеров, заметил:

- Будь осторожен, это из приданого моей жены...
- Не бойся... В другое время нас не признаешь... Ты только посмотри на приданое дочери Мугани... Как же иначе, она же дитя Сабирабада...
- И тарелки она принесла, сервиз «Мадонна»... Когда ее нет дома, беру их, пользуюсь.
- Ах ты, бессовестный, зачем на нее поклеп возводишь? Каждый раз, когда я к вам прихожу, разве наша сестра Алмаз не в этих тарелках едой нас угощает?

Я вновь обзрел накрытый стол:

- Чего не хватает?

Вероятно, на столе многих вещей не хватало, к примеру, соли, салфеток, но Рауф сказал:

– Водки...

Двумя руками я прикрыл голову:

– Вай!

– Что случилось?

– Надо было бы сразу ее в холодильник засунуть, она же сейчас как кипяток.

Рауф спешно внес такое рационализаторское предложение:

– Быстро омой ее под водой и засунь в морозильник.

– Ну, хорошо... – я прошел в дом и, вернувшись, протянул ему бутылку: – Посмотри, как тебе?

Водка была ледяной. Рауф заметил:

– Ты неисправим...

– Да не я ужасен, а ты... Вот уже двадцать лет, как мы друг друга знаем, а ты никак не привыкнешь к моему стилю речи...

– Отчего же?...

– Потому что ты действуешь в стиле Мугани, а я – в стиле Гарабаха... Это разные вещи.

– Как тебя понять? – спросил Рауф с серьезным лицом.

– Ну, давай я тебе объясню... Представь, что гарабахский стиль выражает себя на английском языке, а муганский – на узбекском ...

Рауф громко рассмеялся. Я не стал ему мешать, своим молчанием создал ему условия, чтобы он вдоволь насладился этой шуткой. В конце концов он успокоился... Со стороны он выглядел таким счастливым...

И когда от прежнего Рауфа не осталось и следа, он сказал:

– Сейран, у меня к тебе дело, я поэтому к тебе заходил.

– Слушаю тебя, брат, чем смогу – помогу.

– Но сразу хочу оговориться, у меня к тебе просьба. – Он посмотрел мне в лицо и знакомая мне печаль в его глазах стала нарастать и вскоре уже готова была взорвать черноту его зрачков.

– Говори, друг...

Я постарался взять себя в руки, но в голову ничего не лезло, будто мой мозг оцепенел.

– У меня просьба, – сказал Рауф, подняв на меня пару печальных «вишен» в глазах. – Прошу до конца меня выслушать, а потом уже, что пожелаешь – скажешь.

Договорились. Пока на скатерти мы ни к чему не притрунулись.

– Коротко сказать или...

– Как твоей душе угодно, – сказал я, стараясь угадать, что с ним вдруг произошло. Оказывается, с ним это произошло не вдруг, а копилось на протяжении многих лет... – Да стану твоей жертвой, брат, как тебе угодно, так и говори...

Если бы это было в другое время, при других обстоятельствах, я бы ему сказал: «Говори короче... еда остывает, водка греется...». Но сейчас ситуация была иной, я не осмелился его останавливать.

Рауф зажег сигарету и, жадно затянувшись, сказал:

– Сейран, я не поеду в Москву, и я – не женюсь...

Я не спросил его о причине. Не попрекнул его своей поездкой в Москву, где я просил важного человека помочь ему; не напомнил ему и о том, как мы с нашей зна-

комой писательницей и ее родственницей ездили в Сараи, сидели в ресторане и пришли там к решению о свадьбе; не сказал и о нашем с ним соглашении. Словом, не считал нужным обо всем этом ему напомнить.

– Сейран, у меня никого нет...

После этих слов мне пришлось нарушить молчание и заговорить:

– Не говори так. У тебя в районе есть братья, у тебя есть Зейнал, есть я, у тебя есть ты сам.

– И братья, и Зейнал, и ты, конечно, вы все мне дороги... Но сам я не самодостаточен... себе не принадлежу. С тех пор, как себя осознал, смотрю на себя издали, смотрю, как на чужого... В лучшем случае, смотрю как на старого знакомого, чье имя не могу вспомнить, смотрю с расстояния... Сам с собой, лицом к лицу, не встречаюсь... Я сам себе чужой... От тоски по себе страдаю, сердце покрылось коростой... этот гордый узел не распутать и Богу... и Он не захочет его развязать. Если я сам этого не хочу, отчего Аллах этого должен хотеть?.. Бог меня не любит. Для тех, кого любит Аллах, он что-то хочет сделать. Мое терпение иссякло, давно иссякло, тихо-тихо, капля за каплей. Последние капли и вспомнить не могу – когда упали, где упали?... Я родился не для того, чтобы быть любимым, а для того, чтобы любить. Всевышний почти никому не дает этих двух священных чувств вместе – любить и быть любимым. Каждому из двух этих вещей Он дает что-то одно. Или же ничего не дает. Или ты любишь, или тебя любят. Ад находится не под землей, ад – этот видимый чувственный мир, в котором мы живем. Если мир этот любит тебя, то ты проникаешься верой, что все тебя должны любить! Когда ты любишь, то тебе кажется, что всех ты должен любить. Здесь никогда не бывает справедливости. Это исходит из характера человека, из его дуализма. Те, что любят, но не встречают взаимности, священные жертвы. Я в это настолько верю, что считаю, что их после смерти следует хоронить в Аллее шехидов. Я дошел до точки, брат, как пустой бидон громыхаю. Ничто не в силах меня заполнить. Внутри у меня все засохло и потрескалось. Дай Бог, чтоб с вами так не случилось, вас и так мало...

Он тяжело замолчал. Его монолог поверг меня в оцепенение. У меня пересохло в горле. Я не мог вымолвить ни слова, хотя по жизни все меня знают как человека, у которого слова сыплются с языка, как из рога изобилия. А теперь гортань моя засохла, потрескалась, как и нутро Рауфа. Азербайджанский язык богат, но ни одно слово не приходило мне на ум. Скажу без преувеличения, за эти десять минут я постарел на десять лет. Мне показалось, что я остался один в некоей старинной крепости, и когда из нее смотришь в небо, то там не видно Бога, Он не видит нас... И Рауф Солтан не видел ни меня, ни чего-то вокруг, находился в своем одиночестве, позабыв, что я сижу с ним рядом. Ему было привычно быть одиноким, ведь он это давно испытывает – обветшалое, поношенное одиночество... Вдруг Рауф так зарыдал, что и эта тишина, и это одиночество, все-все разлетелось вдребезги, упало нам на головы, и мы остались под завалами.

И хотя сам он дошел до точки, печаль его, пропитанная сыростью, не замкнулась в себе. Будто вишни зрачков его кто-то смял и вытащил из них косточки... и они пролились...

Если бы сам я не был свидетелем, то ни за что не поверил бы, что Рауф способен так горько заплакать, потому что это был гордый человек.

И хоть язык мой все еще был нем, ноги шли. С трудом передвигаясь, я подошел и сел с ним рядом, обнял. Если б кто-то увидел нас в таком положении, то при-

нял бы за памятник. «Скульптура» изображала крепкое объятие двух человек. Казалось, что этот памятник может так простоять вечно, исхлестанный солнцем, дождем, снегом, ветром.

Одна из обнимающихся скульптурных фигур, то есть – я, встала и несколько раз шутя пристукнула по груди другой фигуры:

– Балкон и вправду прохладный...

– Я сказал, да, на балконе хорошо, – заметил второй памятник, конечно же, Рауф Солтан.

Слова заставили язык пошевелиться. И язык потряс все наше естество, вдохнул в слова душу. Слова спасли нас от оцепенения, вернули к жизни, превратив моего друга в прежнего Рауфа, а меня в Сейрана. И эта метаморфоза произошла благодаря словам... вновь словам...

Рауф не любил и не стремился к тому быть в центре внимания по двум причинам: во-первых, в центре внимания он не ощущал себя свободно, и это заставляло его чувствовать себя угнетенно. Это его подавляло, и он не желал нести этот груз. Во-вторых, ему казалось, что быть в центре внимания – это все равно, что стоять перед толпой людей нагишом, в чем мать родила. Несмотря на то, что почти все люди стремятся быть в центре внимания, в центре событий, и это всем нравится, однако для Рауфа Солтана это – противоестественно, Рауф Солтан не такой. Есть даже такие люди, которых мать родила не в больнице, а в центре внимания, в некой абстрактной обители, судьба их такова. И эти люди, если даже на миллиметр отходят от центра внимания, то задыхаются, им не хватает воздуха – будто заболевают астмой. В этом плане Рауф Солтан был другой, не от мира сего... Если весь народ с центра внимания не сводят глаз, то у Рауфа Солтана все наоборот, он этого избегает.

Но в современной реальности, если ты не в центре внимания, тебя никто не увидит. Даже если тебя заметят, то посчитают или второсортным человеком, или третьесортным, или же невидимкой, то есть сделают вид, что не видят, – это во всех сферах нашей жизни так...

В этом плане не могу сказать, кто прав, азербайджанский народ или же Рауф Солтан. Это вопрос непростой...

Рауф жил на съемной квартире у одной русской женщины, на окраине города, в Патамдарте, считавшемся не модным периферийным местом. В Союз писателей приходил лишь за гонораром, и это случалось довольно редко. К примеру, я его никогда не видел там на мероприятиях. Получается, и в Союзе писателей он был «на окраине». И только однажды, когда он опубликовал свои стихи, он на короткое время блеснул, как яркая звезда, на небосклоне азербайджанской поэзии. Поневоле попал в центр внимания общественности и так же быстро отдалился, поселившись на окраине литературы. И это несмотря на то, что после этого начал писать даже лучше, чем раньше.

И на улице, когда мы шли гурьбой в пять-шесть человек, он пристраивался к краю, никогда я его не видел в центре, или хотя бы ближе к центру. И в городе, если встречал знакомых, то здоровался с ними на расстоянии и проходил мимо. Он на все смотрел со стороны, как посторонний. В народе говорят: «Для того, кто на все смотрит со стороны – все кажется легким»; эта пословица не имела отношения к Рауфу, то есть ему ничего легко не давалось. Его «окраинность» нарушалась лишь на берегу моря. Я два раза с ним выходил в море на прогулочном катере. И когда катер, сделав круг возле острова Наргин, возвращался, он, не отрываясь, смотрел на город. Он

любил смотреть на Баку издали. И как только катер причаливал к берегу, он испытывал беспокойство – а почему, это до сегодняшнего дня для меня тайна, возможно, это и ему самому не было ясно. Когда он оказывался за пределами города, преобразился, распаивался, как окно...

Зная все это, Рауфа Солтана правомерно назвать «посторонним» человеком ...

Теперь вернемся к моему балкону, к столу с нетронутой трапезой.

И еда, и обжигающий руки тендир-чурек остыли. Прохладность нашего меджлиса и на них подействовала. По стеклу бутылки водки потекли царапины ручейков. И хотя Рауф погрузился в себя довольно глубоко, но постепенно медленно-медленно стал возвращаться к своему прежнему облику. Полчаса назад, во время нашего тяжелого разговора, Рауф Солтан был, можно сказать, «ксерокопией» себя самого. А теперь черты его, оживая, тихо-тихо проявлялись. Он вновь превращался в моего друга Рауфа Солтана, которого я знаю на протяжении многих лет. В моем понимании это походило на государственный переворот... Но государственный переворот касается всех, а переворот, пережитый нами, – камерный, и потому, кроме нас, его никто не видит, никто о нем ничего не знает....

– Распечатай-ка бутылку... – обратился я к нему.

Конечно, я и сам мог открыть бутылку и разлить водку по бокалам, но я специально обратился к Рауфу, чтоб рассеять его тяжелые мысли, мне показалось, что так лучше, я хотел, чтоб он почувствовал себя раскованно.

– За Зейнала... – Рауф поднял бокал, – он тебя ужасно любит. Не скрою, из-за этого мне почему-то его жаль. Он считает тебя половинкой своей души. Так что ты полноправный собственник половины его личности. Без тебя он не Зейнал, он – Зей...

– Если он «Зей», то я «нал», то есть – подкова?... Ну, спасибо...

– Ну, не начинай опять... – на лице его появилась усталая улыбка. – Ты и сам все прекрасно понимаешь.

– Он не Зей, а Зай, придурок.... Флакон с ядом... – никогда еще я так зло не шутил; я сам не мог понять, что на меня нашло, и отчего-то не мог остановиться.

Я пытался шутить, «прикалываться» к Рауфу, но, чувствуя, что он не в том состоянии, быстро «взял себя в руки» и перешёл на нормальную интонацию:

– Спасибо, Рауф, я пошутил – великолепный тост. Зейнал – наш брат, о Зейнале лучше не скажешь.

Ленивая улыбка, недавно промелькнувшая на его лице, вновь проявилась. Внимательно взглянув ему в лицо, я вдруг заметил: о, Боже, как же подходила ленивая улыбка к его усталому лицу...

Второй бокал я поднял за здоровье Рауфа; третий тост Рауф сказал обо мне. Затем мы выпили за членов семьи, братьев, сестер и в самом конце – за нашу троицу, за наш союз, за дружбу. Я был признателен ему за то, что все эти тосты мы смогли уместить в одну бутылку водки...

Не заметили, как наступил вечер и нас окутало тьмой, воровато объяввшей нас. И когда Рауф, вместе с ночью, хотел уйти домой, я предложил ему:

– Оставайся, куда ты собрался на ночь глядя? Оставайся!

Согласился.

Надо вам сказать, это согласие не впервые случалось с ним, обычно оно приходилось на летние месяцы, когда я оставался дома один.

Утром, а точнее, в полдень, мы оба с легкостью открыли глаза. Не было на свете темы, которую мы в этот день не затронули.

Рауф говорил в тот вечер на редкость правдиво, живописно, мудро, метко. Будто после «переворота» с ним что-то произошло, или должно было произойти... И потому он спешил выговориться... Все богатство своей натуры, своей внутренней жизни он выставил наружу. Его серьезный тон разговора отбил у меня стремление к извечным шуткам и загадкам, до которых я охотник. Во время всех этих разговоров меня настораживали и внушали опасение и беспокойство прощальные нотки. Однако я постарался внушить себе, что прощальные нотки в его речах мне померещились, и успокоился.

Эта наша встреча, начавшаяся вечером и продолжающаяся всю ночь и следующее утро, была одной из самых милосердных, длинных, интереснейших страниц в истории нашей дружбы. И оказывается, как я понял после, самой святой...

Хоть уже и был полдень, но я приготовил для нас завтрак. В нашей семье его называли «Московский завтрак»: сосиски, горчица, глазунья и сто граммов коньяка.

Когда мы завершили трапезу, часы показывали уже половину четвертого. Как я ни просил Рауфа пойти искупаться в море, он не согласился, хотя погода и была довольно жаркой.

– Я в Баку живу больше двадцати лет, но ни разу не купался в море, не люблю...

– А что ты любишь?

– Стоять на берегу и часами смотреть на море.

– Пойдем, я буду купаться, а ты смотреть с берега...

– Нет, на море надо смотреть одному.

Поняв, что его не уговорить, я сказал:

– Ну, смотри, вечером я буду дома, заскучаешь, заходи.

Улыбнулся. Разве бывают дни, когда он не скучает?...

Я прикрыл за ним дверь и подошел к окну с видом на дорогу. Зажег сигарету. Рауф шел, ступая широкими шагами, свойственными его походке. Но на этот раз шаги его были нетвердыми... Я долго задумчиво смотрел ему вслед. Он же ни разу не обернулся. А я этого так желал...

Рауф Солтан, свернув с дороги, исчез в водовороте дня. Докурив сигарету до самого конца, я прошел в гостиную и бросился на диван...

У кого только я не спрашивал о Рауфе, никто его не видел, никто о нем ничего не знал; я спрашивал о нем у Адиля Расула, Кялянтар Кялянтарлы, в буфете ресторана «Новбахар», где он обычно обедал, чуть ли не у памятников Хуршидбану Натаван и Низами. Будто он превратился, как обычно говорят, во вкусный пончик и испарился в небо...

Я особенно не волновался, все ждал, что этот нелюдимый мой друг где-нибудь да появится... без него скучал... И Зейнал меня спрашивал о нем. А где он живет, мы точно не знали.

Он ведь никогда не жаловался ни на свою судьбу, ни на свое здоровье.

С того дня, как я смотрел ему вслед из окна своего дома, прошло сорок дней. Я точно помнил этот день, было десятое июля, а сегодня – двадцатое августа. Честно говоря, я в те дни был занят. Ездил на пятнадцать дней по маршруту Мальорка – Барселона. Вернувшись в Баку дней через двадцать, я отправился в новое путешествие – по маршруту Баку – Москва – Лондон – Париж. И во время этого путешествия

я не раз вспоминал Рауфа, и по-прежнему меня не беспокоили дурные предчувствия. Я даже думал привезти ему подарок.

По возвращении из Европы я договорился с Зейналом встретиться в парке Ата-тюрка в кофе «Billur». После того, как мы немного поели-выпили, я спросил:

– Зейнал, а что слышно про Рауфа, куда он пропал?

– Да, о нем уже известно.

– Как хорошо, Зейнал, да возрадует тебя Аллах... Позвал бы, да, и его...

– Рауф умер... – сказал Зейнал, опустив голову.

– Когда?

– Одиннадцатого июля. Сороковины его давно прошли, – глаза Зейнала наполнились слезами.

– Откуда ты узнал?

– Есть у него земляк – Самандар, работает в паспортном столе, он сказал.

– А где ты его увидел?

– Возле кинотеатра «Азербайджан», я неожиданно с ним повстречался и спросил у него про Рауфа: «Самандар, не знаешь, где Рауф, что-то давно его не видно». Тот ответил: «А ты разве не знаешь... он умер...»

Пораженный, я окаменел. Для Зейнала эта потеря была уже старой, а я о ней только что услышал. Хотя у такой потери нет ни старого, ни нового времени.

Мы с Зейналом весь вечер с болью в сердце вспоминали Рауфа. Не приведи Господь потерять друга, это тяжко. К тому же ведь он был еще так молод...

Мы решили поехать в субботу в Саатлы, отыскать его могилу. Правда, в Саатлы мы никого не знали – ну так что, узнаем....

В пятницу Зейнал позвонил мне и сообщил, что не может поехать, поскольку его отец в настоящее время находится в командировке в Гейчае и ему срочно надо выехать к нему.

«Давай поедem в Саатлы после того, как я вернусь», – предложил он.

Но я был настроен на поездку и решил ее не откладывать. Я мысленно был уже там, на незнакомом мне кладбище, оставалось только самому поехать. И потому Зейнала я уже не стал ждать.

Когда я вышел из машины возле прокуратуры Саатлинского района, ко мне со всех ног бросился полицейский, сообщив, что здесь нельзя останавливать машину.

– Прокурор на месте? – спросил я его, не обратив внимания на запрет.

Полицейский сказал поспешно:

– Да, да, прошу.

Поднявшись на второй этаж, я изложил прокурору, моему старинному знакомому Мобилю Исмаилову, суть дела. Он позвонил кое-куда, и не прошло получаса, как появился брат Рауфа. Я не был с ним знаком. Мы сели в мою машину и направились на кладбище, в селение Солтанлы.

Небытие Рауфа, смешавшись с моим бытием, затрудняло мое дыхание, словно я вдыхал пары тяжелой, влажной земли. Мне казалось, что если бы внутри у меня поджгли спичку, я бы взорвался. И брату Рауфа тогда не поздоровилось бы.

Я задыхался. Мое состояние походило также и на состояние человека с высоким давлением, поднявшегося в высокогорное село. Внутри у меня жила крупница надежды, что как только я увижу могилу Рауфа, то сразу же остужусь – ведь говорят же: «лицо земли холодно».

Не доходя до кладбища, я сказал брату Рауфа:

– Ты ступай впереди, покажешь...

Тот молча повиновался. Он шел, раздвигая сухую траву высотой в человеческий рост. Дойдя до края кладбища, остановился:

– Вот.

У Рауфа, всегда побиваемого камнями слов, не было надгробного камня. Вместо камня была небольшая дощечка величиной с ладонь.

Мне показалось, будто ее выдернули из забора и поставили в изголовье Рауфа, затем ржавой, тонкой, как спичка, проволокой нацарапали на ней: «Рауф Солтан». И все! И на ней не было ни даты рождения, ни даты смерти.

Дом для человека – пристанище временное. Он никогда не станет роднее могилы. Бывает даже, что человек сто лет живет в доме, а стен и не замечает. В этом смысле могилу можно воспринимать как посмертную «оболочку» человека...

«Оболочка» Рауфа заросла травой. Обветшалый вид могилы царапал глаза. Казалось, будто Рауф накинул на себя свое извечное выцветшее серое пальто, которое он носил зимой. Говорят, во все времена года покойники мерзнут, может, поэтому могила Рауфа надела на себя старое пальто. Оставалось только ждать, что она встанет и зашагает по дороге широкими шагами, какими шагал Рауф при жизни...

Серая могила Рауфа располагалась на окраине кладбища. Ее еще можно было бы назвать «могилой окраины»...

Рауф Солтан с самого дня рождения был человеком посторонним этому миру...

Я решил в последний раз побеседовать с Рауфом как раньше...

– Как ты, Рауф?

– Как мертвец...

– Не тоскуешь?

– Мертвые не тоскуют...

– Почему тебя похоронили на окраине кладбища?

– Так я сам захотел.

– Прости, что я запоздал со своим приходом...

– Ну, даже если бы раньше пришел, ну и что? Что ты можешь поделывать? Так хорошо.

– Ты похож на простуженного человека?

– Мертвых холод не берет, не беспокойся.

– Ты там пишешь стихи?

– Я написал поэму «Посторонний».

– Хорошая?

– Это мое лучшее произведение. И посвятил ее нелюбимой памяти Рауфа Солтана.

– Напечатаеть?

– Здесь типографии нет. Вчера вечером у меня была встреча с мертвецами, прочел, им понравилось, зааплодировали.

– Мертвые могут аплодировать?

– Их аплодисменты – плач, чуть не затопили кладбище.

– Но кладбище не мокрое...

– Здесь Мугань, все сухое...

– Хочешь пойти на море?

– Мертвые не купаются.

– Скоро я возвращаюсь в Баку, хочешь кому-то что-то передать?

– Женщине, что проживает возле «Пятиэтажки», передай мой привет с того света.

– Передам.

– Как только она меня простит, я ее прощение сразу здесь почувствую. Под землей у меня нет ни дня, ни ночи...

– Еще кому что передать?

– Больше ни перед кем моей вины нет...

Брат Рауфа слышал только мои слова, а голоса из-под земли не мог услышать...

Он смотрел на меня странно, как смотрят на того, кто не в себе...

Указав головой в ту сторону, откуда мы пришли, я сказал:

– Иди, найди где-нибудь моллу.

– На этом кладбище моллы нет, – ответил он.

В этих джунглях сухих трав найти камешек было так же трудно, как найти в жизни себя.

Вытащив из кармана дорогую зажигалку, я приблизил ее к надгробной доске Рауфа. Раза два слегка стукнул... Мертвые слышат лишь звук от стука двух камней... Но мне хотелось верить, что Рауф меня все же услышал...

«Скинув» с себя кладбище, подошли к машине:

– Садись, поедем... – обратился я к брату Рауфа.

Он, задыхаясь в водовороте вздохов, сказал:

– Вы идите, у меня в селе дела...

Видимо, моя беседа с Рауфом вконец напугала его..

Я зажег сигарету и, внимательно посмотрев на этого «мальчика» лет тридцати пяти, понял, что он один из сотен молодых людей из «филиала Рауфа»...

С болью в душе сел в машину и направился в Баку. По дороге вспоминал последнюю встречу с Рауфом у нас дома. Если вы помните, конец этой встречи был таким:

«Я прикрыл за ним дверь и подошел к окну с видом на дорогу. Зажег сигарету. Рауф шел, ступая широкими шагами, свойственными его походке. Но на этот раз шаги его были нетвердыми... Я долго задумчиво смотрел ему вслед. Он же ни разу не обернулся. А я этого так желал...»

Рауф Солтан молча глядел мне вслед. Я же ни разу не оглянулся. А он этого так желал...